

Илья Ильф, Евгений Петров Двенадцать стульев

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву

12 стульев без цензуры

В тексте романа курсивом выделены разночтения и фрагменты, исключенные из варианта, входившего в ранее издававшееся собрание сочинений Ильфа и Петрова.

Часть первая Старгородский лев

Глава первая

Глава I. Безенчук и нимфы

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились

и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальщиков, что это просто мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами, по роду своей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из *причудливого (морозного, с жилкой)* стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу «*Им. тов. Губернского*». Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные *гроба*, гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «*холю ногтей*» и «*ондулясион на дому*». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею, на большом пустыре, стоял палевый теленок и нежно лизал

поржавевшую, прислоненную (как табличка у подножия пальмы в ботаническом саду) к одиноко торчащим воротам вывеску:

«Погребальная контора «Милости просим».

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, ходил на старую надгробную плиту. Левый уголок его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических (или, как шутливо говаривал Ипполит Матвеевич, гинекологических) древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит

Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.

«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года — не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами *и низкими подборами*. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув *с седых (волосок к волоску) усов* оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в

нерешительности *попробовал* шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко стриженным алюминиевым волосам *пять раз левой и восемь раз правой рукой ото лба к затылку* и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до *185* сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще *Клавдии Ивановне* с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

— Я очень встревожена! Боюсь, не случилось бы чего!

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил *свою тещу*. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце. И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках *и без них*, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее росли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были

ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.

— Как здоровье *вашей* тещеньки, разрешите, *такое нахальство*, узнать?

— Мр-р, мр-р, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай ей бог здоровычка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туды его в качель.

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о з доровье тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич, — что ей делается. Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было *обозрение* во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи», показывали пять минут десятого.

— *Мацист опоздал!*

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, несколько возвышаясь над *всеми* тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном, на вате, пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности, строгим плакатом: «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него

совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошептала с женщиной и, *потя* от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и, неожиданно для самого себя, гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и *выдавая* квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства» — и

поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне пучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выпренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно.

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкали в чернильницы:

— *Мацист* опять проповедь читал.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поживаясь от весеннего холодка, разбрелись по своим *делам*. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не

удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы «Им. тов. Губернского» выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в *ледовитом* дыму, а служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам *противоположной стороны площади* осторожно прошел мастер Безенчук. Безенчук целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую зарегистрировать внучонка, отогнали на середину площади.

Переписчик Сапежников начал, досконально уже всем известный, цикл охотничьих рассказов. Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться.

— Ну, вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки... Ну, а дальше что?

— Дальше?.. А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью... Ну, вот... Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку... Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской:

— Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью?

— Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан — четвертуха вина...

Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны:

— Вчетвером целого гуся одолели и легли спать, тем более на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное... Ну, у меня полишишки нашлось. Выпили. Чувствуем, не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует...

— Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились... Что с Григорий Васильевичем делалось!.. Я, вы знаете, никогда не блюю... И даже еще мерзавчика раздавил для

легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, говорит, ребята. Я сейчас еще кой-чего доведу». Ну, и довед, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили...

— А охота?! Охота?! — закричали все.

— С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников.

— М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу.

Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, тулупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Застенчиво ступая своими слоновьими сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца.

— Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой

документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Ипполит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока Замначальника Умилиции Перервин».

Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не бывало) зарегистрировал дитя Умилиции.

От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, — родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, — были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в

ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, — как дверь канцелярии распахнулась и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера Безенчука и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — *сказал* Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, *как огурчик*, отборный, *на любителя*...

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди *своих* гробов.

Безенчук предупредительно *распахнул* дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам

увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» *были*, тогда верно. Против ихнего газету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, — лучше моего *товару* нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука *довольно* сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Трое владельцев «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в их лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за

Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь *с сапог* и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра отец Федор, *пышущий жаром*. Подобрал правой рукой рясу и не замечая Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, *жена агронома мадам Кузнецова*. Она *зашипела* и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся

ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я *думала*, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей, *она* давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго *бы* еще рассказывала про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II. Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был *в такой моде в 1911 году*, когда дамы носили *платья* «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец *танго*. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна, — позвал

Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что. Сходите в аптеку. Натеквиганцию и узнайте, почему пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в *этих* делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич, *торопясь*, вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках *трое хозяев «Нимфы»* и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу.

При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя — Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек», *лежавшего обычно на столике его предприятия для улаждения бреющихся граждан.*

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость *захватил!*..

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка! Выдумает же человек!..

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался *бегущий иноходью* Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.

— А доктор что говорит?

— Что доктор? В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись *по сторонам*:

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда *луна поднялась* и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спинке можно было ясно разобрать *крупно* написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года, в ночь, наступившую непосредственно после *его* открытия, и как представители полиции, а впоследствии милиции, ни старались, хулительная надпись аккуратно *появлялась* каждый день.

В деревянных, с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер...

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате, и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соблезнующие письма родственников. Чтобы

рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает, — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета, как сделать, туды их в качель? Первый *сорт прима*? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что *гробовой* мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после

революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника *умилицы*, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. *И*, полный негодования и отвращения *к своей жизни*, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный *гарнитюр*?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем в цветочек...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, я-то отлично помню... Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие бриллианты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я зашила бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на

освещенное керосиновой лампой с жестяным рефлектором каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши бриллианты?! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул? Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом и, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул столик и засеменял по комнате.

Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смиренхонько стоят в гостиной

моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

— *Хоть отметку, черт возьми, вы сделали на этом стуле? Отвечайте!*

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой *своей* дужкой, грянулось об пол и *распалось на мелкие дребезги.*

— Как? Засадить в стул *бриллиантов* на семьдесят тысяч?! В стул, на котором неизвестно кто сидит?!

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тут же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к *агрономше*:

— Умирает, кажется.

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам он ошеломленно забрел в городской сад.

И покуда чета агрономов с *их* прислугой *прибирали* в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натываясь *без пенсне*

на скамьи, принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, *а сверкающие под луной кусты принимая за бриллиантовые кущи.*

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа; представлялась ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов; многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу...

Но сейчас же Ипполит Матвеевич облился холодом сомнений:

— *Как же я их найду?*

Цыганские хоры сразу умолкли.

— *Где эти стулья теперь искать? Их, конечно, растащили из моего дома по всему Старгороду. По всем этим пыльным, вонючим учреждениям, вроде моего загса.*

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор, — *гроб* — он

работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна! — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук, — преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, «преставилась»... А, например, которая покрупнее, да похудее — та, считается, «богу душу отдает»...

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят — «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»...

Потрясенный этой, *несколько* странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя

мастера скажут?

— Я человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

И строго добавил:

— Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» — невозможно. У меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто так без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким, *как вафля*, льдом. На улице «*Им. тов. Губернского*», куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные *в касках*, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава!

Нашему дорогому товарищу Насосову
сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстера

сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто так-таки без газету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там... посмотрим». И в *бриллиантовых* мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Газетовый. С кистями.

Глава вторая

Глава III. «Зерцало грешного»

Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиио-таже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеяннo глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под исполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной *исполкома*, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток

пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял! *Опять как с Неркой кончится.*

Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с преогромным трудом купил за 40 рублей на Миусском рынке, в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоком, мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом — манная кашница, а в третье блюдечко отец Федор

накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору, так необходимого молодой собаке для укрепления костей. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства.

Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собою 3 рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху, принадлежащему секретарю уисполкома.

Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем.

Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженья в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки.

Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с явно матримониальными намерениями.

Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав еще издали страшным голосом, отец Федор бросился спасать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах.

Дома произошла большая семейная сцена, оснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по

уисполкомовской линии.

Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днем и вечером под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окна и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее третья серия щенков оказалась вылитыми марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном, постоянном доходе.

Порывистая душа отца Федора не знала покою. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной линии. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор вдруг начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но *хотя мыло, по его уверению*, заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «*плугимолотовское*». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина

Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через *пять месяцев* собака Нерка, испуганная невероятным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким *для неорганизованной массы* единодушием не покупали у *Вострикова ни одного кролика*. Тогда отец Федор, переговорив с попадьею, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов готовили: жаркое, битки, пожарские котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать *вкусные* домашние обеды. Отец Федор весь вечер *при лампе* писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор *поздним* вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был

уже заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил *всех 240* производителей и *весь* не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный, отец Федор притих на целых два месяца и выиграл духом только теперь, возвратясь из *дому* Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все *показывало* на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей *все его существо*.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь *спальной*. Ответа не было, только усилилось пение. Попадья отступила от двери и заняла позицию на диване. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к небольшому стенному овальному

зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. *Отец Федор купил эту картинку в последний свой приезд в Москву на Смоленском рынке и очень любил ее.* Особенно утешило его «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. *Картинка* ясно показывала бренность всего земного. По верхнему ее ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, *смерть* всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Смерть была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет», где тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне *с полным сознанием своего богатства.*

Отец Федор улыбнулся и, *довольно торопливо,* внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет.

Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

— Господи, — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, — неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?

— Люди, конечно, люди, — согласилась матушка ядовито, — как же, по иллюзиянам ходят, алименты платят...

— Ну, и я по иллюзиянам буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься! Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно. Из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще больше поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молот чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего *постригся*, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

— Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может, — говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда *этого не* делал, попадья все же очень испугалась и, накинув *оренбургский*

платок, побежала к брату за *статской* одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж», *изображающей трех красавиц, лежащих на усыпанном галькой батумском берегу.* Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», *и сам молодецкий казак Козьма Крючков, первый георгиевский кавалер.*

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый обтерханый женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и

прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десятков — все, что осталось от коммерческих авантур отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу *серенькой* рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

— На *неделю* хватит, — решил он.

Глава IV. Муза дальних странствий

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои *обнаженные* полосатые брюки.

Агент ОДТГПУ медленно прошел по залу, утихомирив возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал I и II класса, играя на

деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава».

Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, давал мелкую сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей.

Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный кровопролитный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал вместе со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного

забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подсакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

«Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети.
— А Моня здесь? — еврей спрашивает

еле-еле.

— Здесь.

— А тетя Брана пришла?

— Пришла.

— А где бабушка, я ее не вижу?

— Вот она стоит.

— А Исак?

— Исак тут.

— А дети?

— Вот все дети.

— Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают бряцать и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтями соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали», — с трудом завладевает вниманием и начинает:

«Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит, под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает:

— Это ты, Джек?

А Джек лизнул руку и отвечает:

— Это я!»

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь

закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очагах щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.

Интересная штука — полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбась на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый-К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесту в какую губернию. Уже и *делопроизводитель* загса, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, *59 лет*, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе *двухнедельный узаконенный декретный* отпуск, получил *41* рубль отпускных денег и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли — Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный *молочного цвета* банками с ядом, и, *со свойственной ему нервностью*, продавал свояченице брандмейстера «крем Анго против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, *недостижимый* в природе загар». Но в аптеке был только «*крем Анго против загара*», и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице

брандмейстера губную помаду и «Клоповар» — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

— Как вам нравится Шанхай? — спросил Липа Ипполита Матвеевича, — не хотел бы я теперь быть в этом селльменте.

— Англичане ж сволочи, — ответил Ипполит Матвеевич. — Так им и надо. Они всегда Россию продавали.

Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря — «Кто Россию не продавал», и приступил к делу.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для ращения, уничтожения, окраски?

— Какое там ращение, — сказал Ипполит Матвеевич, — для окраски.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 р. 12 копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

— Они скоро всю Хэнань заберут, эти кантонцы. Сватоу, я знаю. А?

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей *Клавдии Ивановны*, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман *брюк*, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

Глава третья

Глава V. Бойкий мальчик

На масленицу 1913 года в Старгороде произошло со-бытие, возмутившее передовые слои местного обще-ства.

В четверг вечером, в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа. «Всемирно известная труппа

жонглеров «10 арабов»! Величайший феномен XX века Стэнс — Загадочно! Непостижимо! Чудовищно! Стэнс — человек-загадка. Поразительные испанские акробаты Инас! Брезина — дива из парижского театра Фоли-Бержер! Сестры Драфир и другие номера».

Сестры Драфир, их было трое, металась по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский вид, и с волжским акцентом пели:

*Пред вами мы, как птички,
Ловко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.*

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

*Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный, и дурак.*

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным

городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдийным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городовым врачом, тремя помещиками и многими, менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по 2 рубля с персоны».

На столиках в особенных стопочках из «белого металла бр. Фраже» торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека, лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелых лет двоюродной сестрой. Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки Попьет. Жаркое цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна Д'Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам — живые цветы», — сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр, с

негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены. Им цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево и иронически подергивая плечами. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, ни даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивая и одновременно с этим сбивая носком божественной ножки провололочные пенсне без стекол с носа партнера — бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

— Отдай все — и мало! — кричал Ангелов страшным голосом.

— Бис! Бис! Бис! — надсаживался архитектор.

Гласный городской думы Чарушников, пронзенный в самое сердце феей из Фоли-Бержер, поднялся из-за столика и, примерившись, тяжело

дыша, бросил на сцену кружок серпантину. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Фея еще больше заулыбалась. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш...

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор — первый, обернувшийся ко входу, сначала закашлялся, а потом зааплодировал. В залу вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель в шинели и белых перчатках, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

— Не губите, ваше высокоблагородие! — дрожащим голосом говорил околоточный. — По долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих невинными глазами. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! — дико умилился он. — Орел! Дай я тебя поцелую. Оркестр — туш!!!

— По долгу службы, — неожиданно твердо

вымолвил околоточный, — не позволяют правила!

— Што-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором. — Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин, — язвительно сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоедали. А теперь по долгу службы составьте протокол.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: 25 рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под осторожным заглавием «Приключения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:

— Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица...»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» — и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским. В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и, с утрашающей любезностью, просил господина «Принца Датского» прибыть в канцелярию градоначальника к 4 часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона о подозрительной затяжке переговоров по сдаче городского театра под спектакли московского опереточного театра. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. Градоначальник говорил, презрительно растягивая слова и с особенным удовольствием всматриваясь в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и

сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова: «Ваше высокопревосходительство» — зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку от усилия, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-то-те-т-так я же в-в-в-ообще з'-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила 100 р. штрафу и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Покуда сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фредерик со своей супругой

Манькой обитали в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году жизни мальчика Ипполита определили в подготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей — пенала, скрипящего и пахучего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами. О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос о том, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого — девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за столом вместе с прочими экзаменаторами, завздыхал и сообщил: «Это Матвея Александровича сын, очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде были две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали традиционную вражду к питомцам городской гимназии. Они называли их

«карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем, за что, в свою очередь, получили позорное прозвище «баклажан». Не один «карандаш» принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки кровожадных «баклажан». Озлобленные «карандаши» устраивали на «баклажан»-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. «Баклажан»-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный и потерявший одну калошу. Взятая в плен калоша забрасывалась победителями на крышу по возможности высокого дома.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению «мартыханов», жизнь загадочную и даже легендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но, лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и пускался на самые неслыханные предприятия.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во

время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бамбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом. Ипполит и третий гимназист Пыхтеев-Какуев чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил «силач» Савицкий.

— А ну, подыми!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подынешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым. Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал копошиться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное: Савицкий оторвался от фикуса и спиной налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморной бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на притихших мигом гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, как самоубийца в реку, кинулся головой вниз. Падение императора,

хотя и заглушенное лежавшим на полу кавказским ковром, имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий как рафинад кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея от ужаса, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что ж теперь будет, Воробьянинов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил, — быстро ответил Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время греческого в третий класс вошел директор Сизик. Сизик сделал знак греку оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода, — заявил он, — кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожсор! — рывкнул директор, обрызгивая слюною «зубрил», сидящих на передних партах.

«Зубрилы» преданно смотрели в глаза Сизика.

Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор. — Имейте в виду, гошпода, што ешли в чечении чаша виновный не шожнаеча, вещь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали ужас.

Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врет, — говорил Савицкий грустно, — пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали «зубрилы», преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния «зубрилы» рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

«Зубрила» Мурзик прочел молитву после учения «Благодарим тя, создателю», икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку «из поведения с предупреждением и вызовом родителей». Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и, после разговора с директором, утащил сына в шинельную, где и отдрал его самым зверским образом в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен даже за городской чертой.

Ипполит продолжал учиться. Гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников «на выдержку». Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился. В пятом классе он уже говорил, слегка растягивая слова, что не помешало ему снова сесть на второй год. В шестом классе была выкурена первая папираса.

Зима прошла в гимназических балах, где Ипполит, показывая белую шелковую подкладку мундира, вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логикку», «Христианские нравоучения» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест уже дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы уже перевалило за середину. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал блестяще организованным кутежом с пьяной стрельбой по голубям и облавой на деревенских девок. Образование свое он считал законченным. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим

дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза, шедевром которого было филе из налима «Вам-Блям», и большой штат кухонной прислуги.

Глава VI. Продолжение предыдущей

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного старгородского общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки с двойными подбородками и в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским «Аи» по цене, не слыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказски духан. Нормальни кавказски удовольстви», — познакомился с женой нового окружного прокурора — Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, —

*... сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.*

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна имела на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разрешиты стаканчик шампански! — сказал Ипполит Матвеевич галантно.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин. Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил свой бокал, как воду, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прохаживаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и сидевшим на кресле и державшим в клюве кружку для пожертвований чучелом орла, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжуваты» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро чеши за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить своей карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, — ее все узнали. Город в страхе содрогнулся, но этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками само министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор, по-прежнему минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы, в одной чашке которых он явственно видел себя

санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Ипполит Матвеевич со своей подругой приехал в Париж осенью. Париж готовился к всемирной выставке. Еще незаконченная башня Эйфеля, похожая на сумасшедшую табуретку, вызывала ужас идеалистов, постников и трезвенников богоспасаемого города Парижа. Вечером, в отеле, Ипполиту Матвеевичу показали самого Эйфеля — господина среднего роста с бородкой «буланже» цвета соли и перца, в рогатом пенсне. Из-за него произошла ссора, уже не первая, впрочем, между Ипполитом Матвеевичем и его любовницей. Напичканная сведениями, полученными ею от соседа по купе, молодого французского инженера, Елена Станиславовна неожиданно заявила, что преклоняется перед смелыми дерзаниями господина Эйфеля.

— Обвалится эта каланча на твоего Эйфелева, — грубо ответил Ипполит Матвеевич. — Я б такому дураку даже конюшни не дал строить.

И среди двух русских возник тяжкий спор,

кончившийся тем, что Ипполит Матвеевич в сердцах купил молодого рослого сенбернара, доводившего Елену Станиславовну до притворной истерики и прогрызшего ее новую ротонду, обшитую черным стеклярусом.

В пахнущем москательной лавкой Париже молодые люди веселились: шатались по кабачкам, ели пьяные вишни, бывали на спектаклях «Французской комедии», пили чай из самовара, специально выписанного Ипполитом Матвеевичем из России, за что и получили от отельной прислуги кличку «молодоженов с машиной»; неудачно съездили на рулетку, но не говорили уже больше ни о бедственном положении приютских детей, ни о живописности старгородского парка, потому что страсть незаметно пропала и осталась привычка к бездельной веселой жизни вдвоем. Елена Станиславовна сходила однажды к известной гадалке, мадам де Сюри, и вернулась оттуда необыкновенно взволнованной.

— Нет, ты обязательно должен к ней сходить. Она мне все рассказала. Это удивительно, — твердила Елена Станиславовна.

Но Ипполит Матвеевич, проигравший накануне в безик семьсот франков заезжему россиянину, только посмотрел на свои кофейные с черными лампасами панталоны и неожиданно сказал:

— Едем, милая, домой. Давно пора.

Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Галки картавили необыкновенно возбужденно, что напоминало годовичные собрания «Общества приказчиков-евреев». Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу Пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. Внезапно в окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал летать. Внизу никто не отзывался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. — Тоже... Париж.

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте 300 рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых офицеров, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности и, морщась от боли, выдирав стальным пинцетом высывающиеся из ноздри волоски; посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермена из «Травиаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадия порока, насмеялись надо мною вы жестоко», — баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женой, колоратурным сопрано. Последовавшая

затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова 160 рублей и покатил в Казань.

Скабрзные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имени Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкие различия между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто и по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначалницы. Все считали его

безнравственным холостяком. И вдруг, в 1911 году, Воробьянинов женился на дочери соседа — состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, наехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязым и кротким скелетом. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию кроткого скелета белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня Эполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно.

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гутен морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он

начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самой полной коллекцией русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления коварного врага из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель управы, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в количестве двух экземпляров и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтливое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из этих редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова даже выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими

буквами: «Nacosia — viscousi!».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Ипполита Матвеевича стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Сейчас же вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены в виде полумесяца. Посредине стола, на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин, клюнувший уже с утра и ослепленный магнием бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было

предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, забыв о семейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злязычию Принца Датского.

Был 1913 год. Двадцатый век расцветал.

Французский авиатор Бренденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах с зонтиками и гимназисты старших классов встретили «победителя воздуха» восторженными истериками. «Победитель воздуха», несмотря на

перенесенные испытания, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил шампанское.

Жизнь была ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:

*Измученные гонореей!
Выслушайте меня!*

Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь.

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве...

После речей к трубадуру прорвался освирепевший почитатель и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

*Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.*

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Двадцатый век расцветал.

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Далматов — познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.

В синематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в 3 частях из русской жизни «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

*Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?*

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаша — действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках — катили на пролетках к стрельбищному полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли на извозчиках в жандармское управление. Это не сделало никакого шума, гулянье продолжалось, и еще далеко за полночь в темном небе блистал, сокращался и,

раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В это самое время рабочий Мнухин, держа в руке картуз и чувствуя себя несвободно, стоял перед столом жандармского ротмистра Аугуста. Ротмистр был краток:

— Прокламации тебе кто дал?

— Никто не давал.

— А они откуда ж взялись?

— Не знаю.

И два стражника увели Мнухина через весь город, мимо канатного депо, водопроводной башни, кладбища, через пустыри — в тюрьму. Мнухин шел широким шагом, изредка любопытно поглядывая на кувыркавшийся фейерверк, который был виден всю дорогу. Когда стражники, сдав арестованного, возвращались назад, фейерверка уже не было, и в полной темноте сквернословила загулявшая бабенка.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только 38 лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он

замышлял новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в 18-м году его выгонят из собственного дома и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товаро-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, графитные кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и воображал, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело — и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется назад в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запряженный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть и, глядя на полыхающий фейерверк с

горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

Глава четвертая

Глава VII. Великий комбинатор

Вполовине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой чело-век лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана *налитое* яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и *воскликнул* :

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и *немедленно* отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию,

костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астрорябию.

«О, *Баядерка*, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астрорябию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астрорябию?! Дешево продается астрорябия! Для делегаций и женотделов скидка!

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астрорябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астрорябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астрорябия была продана интеллигентному слесарю за три рубля.

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астрорябию покупателю, — было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел, — в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской «СССР, РСФСР. 2-й дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме, да без невест?

— наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи живут на

полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

— А в этом доме что было до исторического материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме?

— А при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! *Он не буржуй был.*

Предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил *он*.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял *апельсиновые* штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека — Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменял много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было *еще* завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника

Репина — «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР.

Однако оба *варианта* имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт. *Не чистая работа*». С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина — голым по пояс. В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей картины в обычных костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.

— Полицмейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, *положим буду говорить*, на Новый год с поздравлением — трешку дает... На Пасху, *положим буду говорить*, — еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит... Медаль даже обещался мне представить. «Я, — говорит, — хочу, *чтоб дворник у меня с медалью был*». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»...

— Ну и что, дали?

— Ты погоди... «Мне, — говорит, — дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, — говорят, — за границу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, — говорит, — Тихон, жди, без медали не будешь»...

— А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут

было с солдатней сидеть... А теперь медали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, крихтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон. — Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но

Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

— У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, — я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— *Понимаю*, — сказал он, кося глазом, — вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из *Конотона* навестить свою покойную бабушку...

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. *Глядя на бумажку, дворник так расстрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива.*

Тщательно заперев на крючок за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

— Спокойно, все в порядке. Моя фамилия — Бендер! Может, слышали?

— Не слышал, — нервно ответил Ипполит

Матвеевич.

— Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

— Понимаю. Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя *просто* плохо.

— Ну, знаете, я пойду, — сказал он.

— Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги *апельсиновые* штиблеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое

удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены в *Леденятах*, с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую границу переходили?

— Честное слово, — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к *бриллиантам*, — честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу вам показать паспорт...

— При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое

знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков *бриллиантов* он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда — всему конец, а может быть, еще *в ГПУ* посадят.

— Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич, — могут и впрямь подумать, что я эмигрант.

— Вот! *Вот это* конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант!

— А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

— Ну, приехал из города N по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал...

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

— Хорошо, — сказал он, — я вам все объясню.

«В конце концов без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич, — а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

Глава VIII. Бриллиантовый дым

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторо-вую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосно-вении гребешка, вылетела дружная стайка *неболь-ших* электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о *бриллиантах* со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!

А уже через час оба сидели за шатким

столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы.

Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

— Три нитки жемчуга... Хорошо помню... Две по сорок бусин, а одна большая — в сто десять... *Бриллиантовый* кулон... Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит, старинной работы...

Дальше шли кольца, не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми *бриллиантами*; тяжелые ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с 500 десятин *пшеницы*; жемчужное кольцо, которое было бы по плечу разве только знаменитой опереточной примадонне; венцом всего была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. *Бриллиантовый* дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный

мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от *звуков* голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

— Тысяч семьдесят — семьдесят пять.

— Мгу... Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.

— Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич

кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал выработать условия.

— В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабеж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предложить?

— Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же *15 000* рублей!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, *и сказать вам, где нет милиционера?*

— В таком случае — простите! — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае — простите, — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньшие основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один *смогу* справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что *наши бриллианты* почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете *постольку*, поскольку я хочу обеспечить вашу старость!

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

— Двадцать процентов, — сказал он угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап.

— Двадцать пять.

— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

— К чему такая точность? Ну так и быть — пятьдесят процентов. Половина — ваша, половина — моя.

Торг продолжался. Остап *еще уступил*. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов.

— Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер, — вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Я не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

— Ну что, тронулся лед? — *добавил* Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинений и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, — приступили к выработке диспозиции.

В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль, чудесным образом попавший в его руку. Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного прибоя.

Появлением барина и тремя бутылками пива дворник был растроган до глубины души. Все казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предостерегающий плакат: «Прозба непреличными словами не выразатся». Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком. И эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал:

— Выдумали же, дьяволы!

Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему не знакомые штатские молодые люди.

— А что, солдатики, — спросил Тихон, подсаживаясь, — верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?

Молодые люди загоготали. Один из них спросил:

— Ты-то сам из помещиков будешь?

— Мы из дворников, — ответил Тихон, — а, буду говорить, помещик, положим, вернулся. И ему земли не дадут?

— Ну ясно, дура ты, не дадут.

Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел еще больше и заболботал что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика.

— Барин, — бормотал Тихон, — медаль даст. Приехал мой барин.

— Ну и дурак же! — подытожили молодые люди. — Это чей дворник?

— Вдовьего дома. Бывшего Воробьянинского.

— Вернется он сюда, как же! Ему и заграницей неплохо.

— А может, вернулся — в спецы метит.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за

все попутные палисадники и надолго прикивая к столбам, тащился в *свою пещеру*. На его несчастье было новолунье.

— А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда, среди ночной тишины, вдруг горячо и хлопотливо начинает *мычать* унитаза.

— Это конгениально, — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, — а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

— М-можно, — сказал *неожиданно прозревший дворник*.

— Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич, — не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался *оглушающий* крик:

— Бывывывали дни веселые...

Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял *свой*

хорал, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придется отложить опрос свидетелей до утра, — сказал Остап. — Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап *спали вдвоем на дворницкой кровати*. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под *рубашкой «ковбой»* не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным *уже* читателю лунным жилетом оказался еще один — гарусный, ярко-голубой.

— Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер, — он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии, *и он*, морщась, согласился продать его за свою цену — восемь рублей.

— Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова *еще теплый жилет*.

— Нет, я так не могу, — сказал Ипполит

Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!..

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: «25/IV-27 г. *выдано* т. Бендеру *p.* — 8 ». Остап заглянул в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте *занести* 60 000 рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — 59 992 рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову *снились* сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но

небритый.

Остап видел вулкан *Фудзи-Яму*, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богоделок.

Глава IX. Следы «Титаника»

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в полови-не восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к *отливу, находившемуся тут же в дворницкой*. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем *радикально-черным* цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича *сразу* потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу, *которое лежало на стуле*. В зеркальце

отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл *свои чистые голубые* глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул *свои* сонные вежды.

— Товарищ Бендер, — умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «*не могу*» и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер! — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

— Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите.

— Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет *радикально-черный* цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар.

— Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон... И потом посмотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это, маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы *надо не* вытирать, а сушить на солнце или у примуса... Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой *липой* ?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль герою труда, — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счет! Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем... Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за

исключением одного гостиничного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса.

— Так он что — здесь в доме?

— Здесь и стоит.

— А скажи, дружок, — замирая спросил Воробьянинов, — когда стул у тебя был, ты его... не чинил?

— Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

— Ну иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

— Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав *«лед тронулся»*, Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича:

— Придется *снова красить*. Давайте деньги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить... Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот... Был такой знаменитый *жулик*, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша. И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за 50 рублей замечательный

совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысячу триста. Его орловец Маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел Мак-Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть — один только Маклер, как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..

— Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», — фальшивый! Давайте деньги на новую краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

— «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски, но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра, Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Арнаутской улице.

— Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана, — бодро заметил Остап, — но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

— Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеевич, — это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу, — повторил Воробьянинов, понуря голову.

— Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

— Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, и они, *взрачиваемые Ипполитом Матвеевичем десятилетиями*, бесшумно свалились на пол. *С головы падали волосы радикально-черного цвета, зеленые и ультрафиолетовые.* Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана старую бритву «Жиллет», а из бумажника запасное лезвие, — стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

— Почему же так дорого. Везде стоит сорок копеек.

— За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому *безопасной бритвой бреют голову*, — невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. *Посередине Остап прервал свое ужасное дело и сладко спросил:*

— Бритвочка не беспокоит?

— Конечно, беспокоит, — застрадал Воробьянинов.

— *Почему же она вас беспокоит, господин предводитель? Она ведь не советская, а заграничная.*

Но конец, который бывает всему, пришел.

— Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он

увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

— Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам!

— Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, — мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

— Ах, да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно! Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад-алле!

Глава пятая

Глава X. Голубой воришка

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее

Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего *зава* за грубое обращение с воспитанницами *семь месяцев назад* сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх *вела двумя маршами* дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а *самих* медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, *подымаясь* наверх.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких

старушек в платьях из найдешевейшего туалъденора мышиноного цвета. Напряженно вытянув *сухие* шеи и глядя на стоявшего в центре *человека в цветущем возрасте*, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег.
А вдали простирался широко
Белым саваном искристый снег.

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туалъденора и туалъденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина — слабее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать *движение* своих рук, только недоброжелательно *на него* посмотрел и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рам .

— Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

— А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап, — я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

— Пожалуйте за мной, — пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли стол, две садовые скамейки на железных ногах (*в спинку одной из них было глубоко врезано имя — Коля*) и рыжая фисгармония.

— В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, *изобразительные искусства, музыкальный кружок...*

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запыхал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в

таким беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туалетной бумаги мышиного цвета:

«Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству».

— Очень хорошо, — сказал Остап, — комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в пожарном отношении все было благополучно. Зато розыски *клада* были безуспешны. Остап входил в спальни *старух*, которые при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные

ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских *Субботников*, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно — это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины, в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же

стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы *дверных* механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. *Казалось, что возвращаются дни гражданской войны.*

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось — стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал на кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, краснея до слез. — Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно.

— А! Впрочем, это пожарной опасности не представляет, — заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только *жирная* табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туалъденора.

— Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?